

Свирель

Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора, Мелитон Шишкин. Его Дамка помесь дворняги с сеттером необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала острый запах гнили.

Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самодельковой, пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его пiske слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально.

Здравствуй, дед! Бог на помощь! приветствовал его Мелитон тонким, сиплым голосом, который совсем не шел к его громадному росту и большому, мясистому лицу. А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?

Артамоновское, нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.

Стало быть, и лес артамоновский? спросил Мелитон, оглядываясь. И впрямь артамоновский, скажи на милость... Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал.

Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, всё у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговики, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

Ну, погода, не дай бог! сказал он и покрутил головой. Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, бог с ним.

Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.

Всё лето такое было... вздохнул Мелитон. И мужикам плохо, и господам

никакого удовольствия.

Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово:

Всё к одному клонится... Добра не жди.

Как у вас тут? спросил Мелитон, закуривая. Не видал в артамоновской сечи тетеревиных выводов?

Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами... По-видимому, своим словам придавал он немалое значение и, чтобы усугубить им цену, старался произносить их вразтяжку, с некоторою торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное и, оттого, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.

Нет, кажись, не видал, ответил он. Наш охотник, Еремка, сказывал, будто на Ильин день согнал около Пустошья один выводок, да, должно, брешет. Мало птицы.

Да, брат, мало... Везде мало! Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и нестоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так об ту сейчас нечего и рук марать не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядеть совестно. Мелитон усмехнулся и махнул рукой.

Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!

Всё к одному клонится, сказал пастух, поднимая вверх лицо. Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

Да, согласился Мелитон, подумав. Это верно.

Пастух горько усмехнулся и покачал головой.

Удивление! сказал он. И куда оно всё девалось? Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева туча-тучей! Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было, а мелкие чирята да кулики, всё равно как скворцы или, скажем, воробцы видимо-невидимо! И куда оно всё девалось!

Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины...

Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из года в год божьи дела и так понимаю, что всё к одному клонится. К чему?

К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора божьему миру погибать. Старик надел картуз и стал глядеть на небо.

Жалко! вздохнул он после некоторого молчания. И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а всё-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари всё ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!

На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка и веки его заморгали.

Ты говоришь миру погибель... сказал Мелитон, думая. Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать.

Не одни птицы, сказал пастух. И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год всё меньше и меньше. В нашей Песчанке, помню, щука в аршин ловилась, и налимы водились, и язь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом всё хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то, небось, сохнут!

Это верно, что сохнут.

То-то вот и есть. С каждым годом всё мельче и мельче, и уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвона, видишь кусты? спросил старик, указывая в сторону. За ними старое русло, заводной называется; при отце моем там Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Меняет русло и, гляди, доменяется до той поры, покуда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тёк, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде!

Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю. Да и леса тоже... пробормотал Мелитон.

И леса тоже... повторил пастух. И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди так без конца краю, покуда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом, до воли тоже был у господ

в пастухах, пас на этом самом месте и, покуда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И всё время я божьи дела примечаю.

Пригляделся я, брат, за свой век и так теперь понимаю, что всякая растения на убыль пошла. Рожь ли взять, овощь ли, цветик ли какой, всё к одному клонится.

Зато народ лучше стал, заметил приказчик.

Чем это лучше?

Умней.

Умней-то умней, это верно, паря, да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру меня взять... Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его вместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет.

Так-тось. Я, акроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от лари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут ничего не поделаешь.

Это верно, согласился Мелитон. Нестоящий нынче мужик.

Нечего греха таить, плошаем из года в год. Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин всё превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида одно только звание, что барин. Нет у него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние сплошной мездрюшка! Обедняли сильно, сказал Мелитон.

Потому и обедняли, что бог силу отнял. Супротив бога-то не пойдешь.

Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал:

А всё отчего? Грешим много, бога забыли... и такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать пора и честь знать. Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.

Ге-ге-гей! крикнул он. Ге-ге-гей! А чтоб вас, нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал; ему всё еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна; они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.

Было у вас затмение аль нет? крикнул из-за кустов пастух.

Было! ответил Мелитон.

Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то! Недаром оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о гибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам.

Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал:

И жить хуже стало, дед. Совсем неумоготу жить. Неурожаи, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее, бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал:

Восемь человек детей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-навсего десять рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела... сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии, а я целый день, как собака, с ружьем, потому нет никакой моей возможности: опротивел дом!

Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью:

Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое

отверстие. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал:

Жалко, братушка! И боже, как жалко! Земля, лес, небо... тварь всякая всё ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает всё ни за грош. А пуще всего людей жалко.

В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал:

Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?

Лука Бедный.

Ну, прощай, Лука! Спасибо на добром слове. Дамка, иси!

Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, всё еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу Песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней.

Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему всё еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.